

об этом тот, кому ведать надлежит»... — Глинка засмеялся.

— Правда, ведь так? — продолжал Глинка смеясь...
Мы разошлись часу в пятом утра*.

И.И. Панаев

ЧЕТВЕРГИ Н.И. ГРЕЧА**

Я бывал в доме Н.И. Греча очень часто по утрам в рабочем его кабинете, а по четвергам на тех вечерних сборищах, известных в ту пору в городе под названием Гречевых четвергов, которые были когда-то очень оживленны и на которых собиралась изрядная часть образованнейшего общества столицы. Эти четверговые сборища начали блекнуть с 1837 года, т. е. со смерти младшего сына Греча, даровитого и прекрасного во всех отношениях семнадцатилетнего юноши Николая Николаевича, студента Петербургского университета, которого я, как почти одногодку, очень, очень любил...

Дом, бывший барона Аша, в котором Греч с семейством прожил более тридцати лет, до продажи его за долги нерасчетливого и мотоватого хозяина, — внутри был расположен, как говорится, семейственно и

* *А.Н. Струговицков* в своих воспоминаниях вносит значительные поправки в характеристику кружка Кукольника, сделанную И.И. Панаевым. См. «Русская Старина», 1874, апрель, с. 702—703. «Мих. Ив. Глинка в 1839—1841 году». См. еще «Записки М.И. Глинки» в «Русской Старине», 1870, № 4—7, 9—11 и в отд. изд. «Воспоминания П.П. Соколова» — в «Историческом Вестнике», 1910, август, с. 403. Воспоминания *М.Ф. Каменской* в «Историческом Вестнике», 1894, сентябрь. *К. Макаров*. Люди старого времени (Художник Яненко) в «Историческом Вестнике», 1894, янв. Воспоминания *И.А. Арсеньева* в «Историческом Вестнике», 1887, т. 27, с. 356.

** «Заря», журнал учено-лит. и политический, изд. В. Кашпиревым. 1871, апр. Из воспоминаний петербургского старожилы *В. Бурнашев*.

удобно, был снабжен двумя огромнейшими залами, из которых одна так заложена и именовалась, а другая была не менее, ежели не более велика, чем первая, но носила название кабинета-библиотеки, потому что все ее стены были покрыты шкапами с книгами. Одно из окон было в виде двери в сад. Сад этот, как городской, был не мал и довольно густ, хотя растения в нем преуспевали скудно вследствие недостатка солнца, происходившего от громаднейшей стены брандмауера соседнего дома князя Юсупова. В этой-то зале с библиотечными шкапами, где сто или полтора человека помещались легко и без малейшей тесноты, происходили все литературные четверговые сходки, продолжавшиеся часов с семи до двенадцати, а иногда и дольше. Из этой комнаты одна дверь была в сенцы с витою лестницею, которая вела в настоящий рабочий кабинет Греча, предлинную комнату с потолком не очень высоким, с птичьим канареечным садком, устроенным в одном из окон, с несколькими рабочими столами, покрытыми книгами, журналами, газетами и рукописями, и со столом-бюро против птичьего садка. Две-три высоких конторки в разных местах и полдюжины кресел, из которых одно, очевидно, хозяйское, так называемое вольтерово кресло или просто «вольтер» — дополняли убранство комнаты. Здесь можно было видеть Николая Ивановича совершенно по-домашнему, а именно в серой китайчатой курточке с жилетными карманами на боках и с одним побольше карманом на груди, для платка. Обыкновенно же Греч бывал при приеме гостей в черном или темно-бронзового цвета фраке, а иногда в синем вицмундире с золотыми гербовыми пуговицами, присвоенном министерству народного просвещения. Впоследствии, когда Греч числился по министерству финансов и делал свои ежегодные «действительные» поездки в Германию, Швейцарию, Париж и

Лондон*, можно было видеть его часто совершенно очинивничившегося, в форменном фраке с зеленым бархатным воротником. Здесь, в этом рабочем кабинете, бывали у Греча все его сотрудники и, вообще, все те, которые имели до него дело и были принимаемы им за просто, без особенных церемоний и парадов, до которых вообще он не был охотник. В приемных комнатах иногда видели Греча и с Владимирским орденом на шее с тех пор, как четвертая степень этого ордена, полученная им за его литературные и грамматические труды еще в молодости, была заменена этою третьею. Владимирский же орден четвертой степени Греч носил только в жилетном кармане, говоря, что надевает его лишь на улице для внушения извозчикам большего уважения. Я слышал это заявление из уст Греча бесчисленное число раз. В рабочем кабинете, кроме двери из сеней, была еще одна дверь, откуда по лестнице, вследствие Гречева звонка, раз по десяти в день поднимался из типографии, помещавшейся в подвальном этаже, гиппопотам в человеческом образе и в засаленном сюртуке — фактор типографии Антон Иванович Иогансон, добрейшее и вместе глупейшее существо, но порядочно знавшее свою типографскую специальность. Это был Гречев *souffre-douleur*, со стоическим терпением переносивший все его выходки и нетерпеливые вспышки, более или менее резкие и оскорбительные. Здесь же, в этом рабочем кабинете, каждый вечер, принимая даже гостей по четвергам, Греч скрывался от собеседников на полчаса, чтобы внимательно просмотреть последнюю корректуру завтрашней «Пчелки», как он всегда называл свою любезную «Северную Пче-

* [В отличие от своего скучного и вялого романа «Поездка в Германию» Греч под названием «действительных» поездок за границу — издавал свою болтовню о личных своих поездках в чужие края, причем старался выставлять на каждом шагу свое «я».]

ду». Однако частенько, особенно с 1834 года и позже, Николай Иванович ленился исполнять эту обязанность и поручал ее кому-нибудь из молодых своих сотрудников, бывших тут налицо. Это было в тех случаях, когда Греч увлекался каким-нибудь рассказом, докончить который ему непременно хотелось. Частенько он давал этого рода поручение Владимиру Михайловичу Строеву, Амплию Николаевичу Очкину или Петру Ильичу Ю-чу (писавшему под псевдонимом Медведовского). Но всего чаще возлагал Греч эту скучную обязанность на меня, и я по молодости лет принимал ее как знак особенного внимания, тогда как это было просто издательскою эксплуатацией. В эти вечера в антрактах чтения корректуры или сводки я находил время внимательно рассмотреть литографированные, пастельные, акварельные, карандашные и другие портреты, покрывавшие стены этого рабочего приюта. Из числа этих портретов, отчасти фамильных, отчасти различных знаменитостей русских и иностранных, более других замечен был мною портрет горбатого, седого, словно лунь, старичка-карлика, под которым были две подписи: одна — «Oh, le nain!» (Olenine) и другая — «Сей огромный сфинкс». Глумление Греча над таким прекрасным и истинно почтенным человеком, каков был Алексей Николаевич Оленин, директор Публичной библиотеки, друг и покровитель Крылова, тем более было неприлично и неуместно, что Греч, как не безызвестно, имел много причин совершенно иначе выражать свои чувства к Оленину, оказавшему ему немало одолжений и добра. Впрочем, нужно сказать, что подобные поступки у Греча брали свое начало не из злого сердца его, а из ветреного и непостоянного характера, имевшего свойство ради острого словца не пожалеть и отца.

Зал-библиотека был, как я уже сказал, так велик,

что в нем иногда устраивалась сцена с декорациями самодельной работы Гречевых сыновей при содействии таких талантливых рисовальщиков, каковы были все братья Клодты фон Юргенсбурги. На этой сцене разыгрывались французские водевили и ставились в огромных позолоченных рамах живые картины, преимущественно из частной жизни или из французской и английской истории.

Помню, что в эту же актерскую компанию вмешался однажды и Адольф Александрович Плюшар, в то время довольно крупный деятель в отечественной литературе и издатель «Энциклопедического лексикона», красивый мужчина, впрочем, чересчур театрального и эффектного вида, занимавшийся до приторности своею внешностью и не пропускавший ни одного зеркала, чтоб не взглянуть в него на свою напыщенно-величавую фигуру, смахивавшую, правду сказать, на восковую парикмахерскую вывеску. Роль, которую он в этот вечер занял в живых картинах, была не более не менее как роль Вильгельма Телля в тот момент, когда этот легендарный герой прицеливается в яблоко, лежащее на голове его сына. Плюшар был также в числе близких или, как говорится, «своих» людей в доме Н.И. Греча. Но, будучи порядочно богат в то время, пока не разорил его Сенковский, разоривший перед тем и благодушного Александра Филипповича Смирдина, Плюшар не прихлебальничал у Греча подобно другим приближенным последнего, а, напротив того, сам частенько амфитрионничал Николаю Ивановичу, который страстно любил обильные, но не церемонные угощения, оканчивавшиеся общим опьянением и спичами, причем пальма первенства принадлежала, конечно, всегда ему, как самому ловкому говоруну своей эпохи, когда застольное ораторство было у нас еще в младенчестве.

Итак, читатель, перенесемтесь в один из этих четвергов и войдем в прихожую Гречева дома, за которою следует перед кабинетом-библиотекою приемная комната в два окна, выходящие на двор, смежная со столовою. По четвергам приемная комната обращалась обыкновенно в прихожую или во вторую переднюю и наполнялась переносными вешалками, которые покрывались шубами, бекешами, кариками, шинелями, плащами и пр. Семь часов вечера, в зале-библиотеке уже публики довольно много, и то и дело входят тут новые гости, которые слегка здороваются с сыновьями Греча и с ближайшими друзьями дома. Зала-библиотека сильно освещена кенкетами и жирандолями с восковыми свечами. На огромном столе и на пяти или шести столах поменьше, покрытых книгами, журналами и газетами, стоят зажженные канделябры. Гости отчасти пьют чай, отчасти курят (далеко, однако, не все и не с тем увлечением, как делается это нынче), все между собою беседуют или составляют кучки и одного кого-нибудь слушают; иные кочуют от одной группы к другой без всякой принужденности. Однако заметно, что нет души общества, нет самого хозяина, говорливого Николая Ивановича, около которого обыкновенно собирается род «веча», слушающего своего любимого «златоуста», как величал его, бывало, Алексей Николаевич Оленин. Греч сегодня в Английском клубе на выборе новых членов, в число которых желает попасть, между прочим, Булгарин. Но вот и сам *Фаддей Венедиктович [Булгарин]* в черной венгерке с брандебурами восседает здесь за одним столиком с рябым и желчным *Сенковским*, курящим что-то вроде наргиле из довольно тонкого и длинного чубука розового дерева. Оригинален костюм Сенковского: зелено-коричневый фрак с золотыми пуговицами, пестрый шалевый жилет и светло-гороховые брюки. Толпа окружает эти две тогдашние

знаменитости, и почти все окружающие ловят слова их, словно манну небесную. Около этой группы за другим столиком сидит неуклюжий, топорной работы, угловатый, сильно нюхающий табак — *Нестор Васильевич Кукольник* и играет в шахматы с неизменным спутником Брюллова художником *Яненко*, который хотя был и не без таланта, но, к сожалению, очень мало интересовался репутацией хорошего живописца и предпочитал коротать свое время в удалой жизни с друзьями, охотниками до попок. Яненко красен, как пион, и лыс; он был добрый и честный малый, но не умел себя держать и слишком много позволял вольностей относительно себя какому-нибудь Булгарину, милостивцу своему Гречу. Булгарин иначе не называл его как «Пьяненко», и теперь даже, именуя его этим справедливым, но оскорбительным псевдонимом, данным ему Гречем, рассказывает про него Сенковскому, который ехидно улыбается своими белесоватыми неприятными глазами.

— Да вот хоть бы вчера, — бурчит Булгарин, — насмешил нас Греч за ужином у него, у Нестора. Наш Пьяненко расчувствовался и вздумал говорить какой-то спич своей фабрикации, да выпив бокал шампанского, кажется, чуть ли не тридцать первый, опрокинул этот тридцать первый пустой бокал себе на лысину и кричит, обращаясь к Гречу: «Так ведь, так, Николай Иванович? Надо пить до капли и опоражнивать бокалы на голове своей». «Согласен, — сказал ему Греч, — да только лучше вливать в желудок, а не переливать, как ты теперь, из пустого в порожнее». Ха! ха! ха! *Из пустого в порожнее!* Ведь понятно: из пустого бокала в порожнюю голову Пьяненки!.. Ха! ха! ха!

— Оно, конечно, Гречем сказано было довольно остроенько и ловко, потому что Николай Иванович мастер на всякую остроу, — сказал Яненко, продолжая

игру с Кукольниковом, — но тебе, Фаддей Фиглярин*, до Гречева ума далеко, как до неба высоко, и остается только потешаться его острословием, которое мы с тобой не всегда и разжужаем, брат. А вот, милостивый государь, Фаддей Венедиктович г. Булгарин, соблаговолите нам объяснить, что это за история вышла у вашей милости с книжником и фарисеем Лисенковым? Он, говорят, объявил в газетах, что у него можно иметь литографированный портрет знаменитого французского сыщика Видока, а как кто спросит, он сует не Видока портрет, а ваш. Любопытная историйка!..

— Анафема этот Лисенков, — сердито захрипел с обычным заиканьем и повторением слов Булгарин, обращаясь к Сенковскому, — действительно удрал этакую глупейшую штуку; но я принял уже меры, и завтра ни одного экземпляра моих портретов у него не будет, и от него отберут подписку, чтоб он не покупал и не продавал других экземпляров.

Некоторые из находившихся в зале, услышав про эту проделку, рассмеялись, другие же сделали вид, из угождения Булгарину, будто находят действие книгопродавца чуть-чуть не богоотступным, собственно потому, что он дерзнул восстать против Булгарина, этого знаменитого журналиста, который в ту пору обычным своим хриплым голосом рассказывал каждому встречному и поперечному: «Можете себе представить: из всех газет государь одну только мою «Пчелку» читать изволит (я это положительно знаю) и отзывается обо мне, что я король Гостиного двора, le roi du Gostinoy dvor».

Вся эта знаменитость Булгарина, ожидавшего в этот вечер с нетерпением результатов своего избрания в Английском клубе, не помешала, однако, одному малорослому белокурому офицеру, по-видимому, кавалеру,

* Фиглярин прозвал Булгарина П. А. Вяземский.

леристу, судя по белесоватым, длинным, вниз спадавшим усам его*, который постукивал о пол ножнами сабли и молодецки побрякивал шпорами, обратиться к Булгарину с вопросом: «Скажите, пожалуйста, Фаддей Венедиктович, что это была недавно за история, когда вы в одно время с Николаем Ивановичем Гречем и с Александром Федоровичем Воейковым сидели на трех разных гауптвахтах, и, говорят, ваша теща приехала на ту гауптвахту, где был Воейков, и у них произошла презабавная сцена, кончившаяся как-то трагикомически для вашей почтенной тещи».

Офицер, произносивший эту речь, был не кто иной, как барон *Розен*, издатель нескольких альманахов, автор невозможных стихов и водянисто-мистических повестей, считавший, однако, себя чуть не Клопштоком, Виландом, Шиллером и Байроном. В последнее время он занят был фабрикацией либретто в стихах для создававшейся Глинкою *первой* русской оперы «Жизнь за царя». В.А. Жуковский, отрекомендовавший Розена М.И. Глинке в качестве либреттиста, часто в насмешку говаривал, что у Розена по карманам были разложены вперед заготовленные стихи, и Глинке стоило сказать, — какого сорта, то есть размера, ему нужно и сколько нужно стихов, и Розен вынимал столько каждого сорта, сколько следовало, и каждый сорт из особенного кармана. Впрочем, лифляндский барон Федор Федорович Розен, ротмистр какого-то армейского гусарского полка и старший адъютант инспекторского департамента, был добрый и честный человек, благородный, услужливый, но фанатик, нервный и капризный иногда, как светская дамочка. Он скептически относился к литературной и гражданской деятельности Булгарина и всегда, когда последний объявлял,

* [В то время усы носили только кавалеристы, да и то не тяжелой, а легкой кавалерии.]

что он в своей субботней «Всякой всячине» ругнет какое-нибудь из произведений барона, барон обращался к Н.И. Гречу, которого также не очень жаловал, и просил обыкновенно его о защите своим немецко-русским акцентом, но речью чисто русскою без малейшего германизма. Вот что мне не раз случалось слышать из отзывов Розена о Булгарине: «Пожалуйста, скажите этому вашему Булгарину, что я при первой встрече сломаю стул об его голову». — «Только, пожалуйста, не одним из моих стульев, любезнейший барон, — подхватывал забавник Греч. — Я только что обзавелся новою мебелью». Но как бы то ни было, а дело в том, что еще ни разу Булгарин не позволил себе манкировать чем бы то ни было вспыльчивому остзейскому барону, и барон на основании этой своей неприкосновенности постоянно держал себя очень без чинов с Булгариным. Это видно и из того нескромного вопроса, какой он теперь предложил Булгарину о его теще, тогда как известно было хорошо, что эта яга-баба прискакала ошибкою на ту гауптвахту, где был Воейков, и что при этой встрече бешеный Воейков пустил в ход против этой мегеры свой костыль. Само собою разумеется, воспоминание об этом обстоятельстве не могло быть сладко Булгарину. К тому же он в этот момент находился под влиянием ожидания, чем решится судьба его избрания в члены столь самостоятельного клуба, который перед тем осмелился забаллотировать даже военного министра — графа (впоследствии князя) Чернышова, о чем в городе было с три короба толков. Все это, вместе с недавним намеком Яненко, изрядно поразозлило Булгарина, и он сказал Розену с нескрывтою раздраженностью:

— Ежели вам рассказывал про это друг ваш Воейков, то оставайтесь в полном веровании к словам его, а меня оставьте в покое.

— Мне нечего оставлять вас, г. Булгарин, в покое, — запищал нараспев Розен, — я люблю, чтоб мне давали ответ, когда я спрашиваю о чем-нибудь, или я ведь офицер моего государя!.. — И при этом он посту- чал брэнчащими ножами сабли.

— Ну, извольте, г. барон, извольте, я отвечаю вам: пусть все, что про гауптвахтное происшествие врал вам Воейков, да будет в понятиях ваших истинною правдой. Но позвольте и мне вас, г. барон, спросить: правду ли говорят в городе, будто вы для будущей оперы Михаила Ивановича Глинки пишете либретто и в это либретто вводите стихи в таком роде:

Так ты для земного житья,
Грядущая женка моя!

— Ха! ха! ха! Грядущая женка! Ха! ха! ха! — задыха- ясь хохотал Булгарин.

Сенковский ехидно улыбался, поправляя пепел в сво- ей стамбулке, а некоторые из предстоявших и составляв- ших придворный штат Булгарина расхохотались в уго- ду ему и назло восприимчивому и нервозному барону.

Барон глубоко почувствовал уязвление, потому что ничто так его не терзало, как мысль, что кто-нибудь может признать стихи его тем, что они есть, т. е. весь- ма плохими. А тут дерзко хохочет ненавистный Булга- рин, злобно ухмыляется мефистофель Сенковский и заливаётся в восторге плюгавенький маленький фелье- тонист В. В. В., т. е. Владимир Михайлович Строев, предерзкая, но даровитая личность, которую Воейков в своем знаменитом «Доме сумасшедших» назвал «Греча левый глас с бельмом». Все это вместе вывело бедного барона-пииту из рубежей приличия, и он, под- боченясь фертотом, позволил себе сказать, глядя в упор на Булгарина:

Двойной присягою играя,
Подлец в двойную цель попал:
Он Польшу спас от негодяя
И русских братством запятнал!..

Булгарина передернуло, Сенковский как-то съежился, Строев мигом улетучился в верхний кабинет. Но Булгарин недолго думал, тотчас знал, чем победить барона — начал плакать и доплакался до того, что добрый, благодушный барон был растроган и уже готов был извиниться перед Фаддеем, как вдруг вбегает сын Греча, Алексей Николаевич, держа в руках записочку, в которой написано: «Скорее, Алеша, скажи Фаддею, что в клубе он выбран *единогласно!*» Булгарин пришел в восхищение и заговорил с Сенковским польски, вероятно, о своем торжестве. Вслед за этим явился сам Греч, которому сыновья и другие близкие люди успели уже сообщить о том, что было между Булгариным и гостями. На это Греч с досадою сказал: «Проклятый лях! Никогда без моих помочей ходить не умеет, оставь только одного, непременно напакостит». С этими еще словами на устах Греч подошел к группе, в которой сидели в разных позах Сенковский, Булгарин, Кукольник, Яненко и стояли барон Розен, Карлгоф, Ю-ч, Очкин, краснолицый толстяк Яковлев, Наркиз Иванович Атрешков и еще человек десять разных других лиц.

— Ну, что, Греч, благодетель и учитель, я выбран единогласно? — спрашивал с беспокойным восторгом Булгарин.

— Единогласно!.. — отвечал Греч, как-то лукаво смеясь, потому что он всегда в каждом разговоре с Булгариным словно камень держал за пазухой и старался как-нибудь да позадеть, хватаясь за всякий случай, чтобы посбить ему его польской спеси.

— Как же единогласно? — продолжал спрашивать Булгарин, уже не совсем довольный тем усмешливым видом, какой имел Греч.

— Да так, как бывает единогласие или одногласие, — шутил Греч, — дело в том, что ты имел один избирательный голос — мой. Как же после этого не *единогласный* выбор?

Яненко и барон Розен, а с ними и некоторые другие захохотали, Булгарин же надулся и стал собираться домой.

— Куда ты, Фаддей, — продолжал восклицать Греч, — куда, зачем? Я никого теперь отсюда не выпущу; все должны быть на местах: я ожидаю знаменитого и драгоценного гостя *Александра Сергеевича Пушкина*. Он в клубе доканчивает партию и сейчас будет сюда. Мы все его встретим, как следует встретить первого русского поэта. Эй, вы, мои рынды, — обращаясь к сыновьям, — Алеша, Коля! Бегите к тетке и скажите, чтоб заморозили шампанского и чтоб она не поскупилась прислать нам сюда пока полдюжины, а потом и добавила бы!

Невзирая на все эти приготовления или, может быть, именно по причине их Булгарин старался удалиться и искал свою шапку, между тем как Греч его удерживал. Булгарин приглашал Сенковского ехать вместе, говоря, что он его подвезет в Почтамтскую, где тогда жил Сенковский. Но прославившийся уже своим печатным гаерством в эту пору барон Брамбеус с злою усмешкою, но решительно сказал, что ему нечего *бегать* от Пушкина и что, напротив, он рад его видеть, потому что ему надо с ним перекинуть несколько слов насчет одного его стихотворения, которое Смирдину, во что бы то ни стало, хочется «сдуру» приобрести для журнала.

Среди этих толков, равно как сборов Булгарина на

утечку и неумолкаемой болтовни Греча о выборах в Английском клубе, вдруг неожиданно и неприметно вошел в комнату небольшого роста господин, с длинными, курчавыми, растрепанными темно-русыми волосами, с бледно-темноватым лицом, окаймленным огромными бакенбардами, падавшими вниз. Господин этот был в коричневом сюртуке и держал мягкую измятую шляпу в левой руке. В лице его было что-то необыкновенное, будто напоминавшее наружность мулата: нос несколько приплюснутый, губы очень красные и широкие, а обнаруженные веселою улыбкою зубы — белизны необыкновенной. То был Александр Сергеевич Пушкин, которого ожидал Греч, намеревавшийся сделать ему овацию и не успевший в этом. Однако, чтоб поправить эту неудачу, Греч, как только увидел Пушкина, тотчас велел подавать шампанское, которое явилось на нескольких подносах, в множестве бокалов. Греч и все, которые только могли добраться, чокались с Пушкиным. К нему тотчас подошел знакомый ему по Жуковскому барон Розен, и Пушкин перекинул с ним несколько интимных слов. Булгарина Греч арестовал, отняв у него его шапку, и сказал Пушкину: «А вот, Александр Сергеевич, мой Булгарин вздумал было от вас уходить на утечку. Но не тут-то было: я его арестовал и никак не выпущу, пока не достигну того, чтобы Косичкин (псевдоним Пушкина в полемике с Булгариным) и Фиглярин (псевдоним Булгарина, данный ему Пушкиным) не прекратили недостойную их распрю, совершаемую ими, право, на потеху райка русской читающей публики».

«Я — Пушкин, — сказал Пушкин, немножко нахмурясь, — а г. Булгарин — г. Булгарин, и в частном быту мы ничего не имеем общего с Косичкиным и Фигляриным, почему ни Пушкин, ни г. Булгарин не могут да-

вать, даже под влиянием этого превосходного шампанского, заверения в том, что до них не касается. *Mais tranchons la-dessous et qu'il n'en soit plus question*, или я убегаю. А вот что за причина, что Фаддей Венедиктович (кажется так?) хотел от меня бежать? Я, кажется, не так страшен, особенно господину Булгарину; он, я думаю, не трусливого десятка, и про то, вероятно, хорошо ведают те различные знамена, под которыми он воевал. Напротив, я ничего не имею к Фаддею Венедиктовичу неприязненного; доказательством тому, между прочим, служит то, что я еще сегодня купил его портрет, очень, очень схожий, продаваемый — представьте себе, господа, — книгопродавцем Лисенковым за портрет Видока. Ох, уж эти мне спекуляторы-книгопродавцы: страсть из всего извлекать какую бы то ни было выгодишку. Да еще я очень рад, что повстречал теперь Фаддея Венедиктовича: мне нужно некоторое пояснение; я для одного нового московского журнала принялся писать мемуары, в которых кое-какую роль будет играть Орест Михайлович Сомов, так хотелось бы знать подробности мнимого его арестования после 14 декабря и освобождения. Все это, кажется, хорошо известно Фаддею Венедиктовичу?*

Заметив угрожавшие Булгарину опасности из начавшихся шутивно-злых заявлений Пушкина, Греч

* [В то время ходило о Булгарине много анекдотов; но особенно замечателен был тот, что известный в двадцатых годах литератор О.М. Сомов, печатавший в альманахе «Полярная Звезда» свои статьи под псевдонимом «Порфирия Байского», желая подшутить над Булгариным, явился к нему, будто бежавший из Петропавловской крепости арестант, прося Булгарина спасти его. Рассказывали, что Булгарин запер Сомова в своем кабинете и сам удалился для принятия мер к спасению приятеля и сотрудника в газете. Через час явилась полиция, которая убедилась в мистификации. Однако рассказывали также, что мистификация эта Сомову не обошлась даром, потому что он за эту неуместную шутку был посажен на трое суток в крепость.]

поспешил возвратить литературному Созию своему его шапку и стал даже стараться о скорейшем его удалении, причем, чтоб половчее замять весь этот возникший скандал, принялся представлять Пушкину то того, то другого из числа бывших тут преимущественно молодых писателей. В том числе он представил и меня. Чрезвычайная моя юность, девственная свежесть и вообще тип мальчика-пансионера и только по покрою платья взрослого человека изумили Пушкина, и он спросил Греча: «Неужели этот мальчик сам написал ту бойкую анекдотическую биографию знаменитого табачного фабриканта Жукова, которая недавно была напечатана в вашей газете?» Потом Греч провел Александра Сергеевича по всем комнатам, чтобы показать ему свой дом и свое семейство. Среди всего этого Булгарин уехал, а Сенковский остался и в отсутствие Пушкина беседовал с Кукольниковом, который говорил ему, что Пушкин не любит его, Кукольника, будто за успех его новой драмы «Рука Всевышнего» и что молва Пушкину приписывает известное четверостишие, ходившее в ту пору по рукам.

— Какое четверостишие? — спросил с луковою улыбкою Сенковский, словно ничего не знавший об этих стихах.

— Да то, которое теперь у всего города на языке, — сказал с неохотою Кукольник.

— Я, видно, не принадлежу к городу, потому что не знаю этих стихов, — настаивал Сенковский, — скажите-ка их, Нестор Васильевич!

Волею-неволею угловатый Кукольник должен был прочесть эти стихи, действительно летавшие тогда по всему городу. И он вполголоса пробормотал:

Рука Всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла,

Поэту ход дала
И Полевого задушила!

Когда Пушкин с Гречем возвратились в зал-кабинет, явилось снова шампанское, и опять Греч с Пушкиным чокался, и Пушкин, чокнувшись с Сенковским, сказал ему вполголоса по-французски (Пушкин, по роду своего воспитания, часто и охотно употреблял французский язык в разговоре даже с соотечественниками) несколько слов, и они удалились в один уголок за плюшевым трельяжем для интимного разговора.

Пока Пушкин и Сенковский беседовали в уголке, Греч, которого не только страсть, а какая-то словно болезнь беспрестанно дергала острить насчет всех и всякого, подмигивая тем, которые около него сидели и стояли, сказал: «Плохо, плохо приходится карману почтеннейшего Александра Филипповича (то есть Смирдина), этого нашего российского Ладвока!» Потом, предаваясь расположению говорить о себе, он не вытерпел и сказал: «А нельзя отнять и от Пушкина большого эпиграмматического дарования. Да вот хоть бы на днях. Это было на новосельи Смирдина. Обед был на славу; Смирдин, знаете, ничего в этом не смыслит; я, разумеется, велел ему отсчитать в обеденный бюджет необходимую сумму и вошел в сношение с любезнейшим Дюмэ*.

Само собою разумеется, обед вышел на славу, прелесть! Нам с Булгариным привелось сидеть так, что между нами сидел цензор Василий Николаевич Семенов, старый лицеист, почти однокашник Александра Сергеевича. Пушкин на этот раз был как-то особенно в ударе, болтал без умолку, острил преловко и хохотал до упаду. Вдруг, заметив, что Семенов сидит между нами, двумя журналистами, которые, правду сказать, за

* [Знаменитый ресторан того времени в Большой Морской.]

то, что не дают никому спуску, слынут в публике за разбойников, крикнул с противоположной стороны стола, обращаясь к Семенову: «Ты, брат Семенов сегодня словно Христос на горе Голгофе». Слова эти тотчас были всеми поняты, я хохотал, разумеется, громче всех, аплодировал и посылал летучие поцелуи Пушкину, который кричал мне: «Вы, Николай Иванович, не сердитесь?..» Я отвечал ему громко: «Я был бы непростительно глуп, ежели бы сердился за эту милую шутку, которая нашему брату журналисту вовсе и не обидна, потому что нам то и дело что приходится разбойничать по общим понятиям публики, то есть лаяться, острить, отбиваться, нападать, даже хищничать. Я понимаю значение журналиста и никогда эпитетом разбойника не обижусь». Я старался обо всем этом говорить как можно больше, чтоб успокоить Булгарина, который пришел в совершенное нравственное расстройство и задыхался от бешенства».

С течением времени многим из посетителей четвергов порядочно надоела их обстановка*...

В. Бурашев

ПЯТНИЦЫ А.Ф. ВОЕЙКОВА**

Вечером, особенно по пятницам, в ожидании гостей, комнаты были с некоторым тщанием прибраны и сильно освещены многими кенкетами, разумеется масляными, потому что в то время, лет за 35—40 перед

* О четвергах Греча см. еще в «Русском Вестнике», 1875, № 8, с. 557. Для характеристики взаимоотношений Н.И. Греча с рядом упомянутых здесь лиц см. его «Записки о моей жизни». П., 1886, особенно гл. XII.

** «Русский Вестник», 1871, № 9. Мое знакомство с Воейковым в 1830 году и его пятничные литературные собрания. Петербургский старожил *В. Бурашев*. Окончание статьи в ноябрьской книжке.